**Конструировать федерацию: Renovatio Imperii как метод социальной инженерии**

С.И. Каспэ

**Российская Федерация: строительство без проекта.**

Сложившееся в российских социальных науках обыкновение начинать едва ли не каждый второй текст указанием на особую актуальность затронутых в нем вопросов стало уже признаком дурного тона — хотя бы потому, что в ряду проблем нашего страдающего системной дисфункцией общества как-то затруднительно отыскать неактуальные. И все же даже на общем фоне тема оптимизации российской этнополитической и территориально-политической организации выделяется, с одной стороны, своей болезненностью поскольку здесь наиболее явно «цена вопроса» измеряется человеческой кровью, с другой стороны удручающей неспособностью интеллектуальных и политических элит подвергнуть последовательному критическому рассмотрению и даже (одиозность термина не всегда наносит ущерб его точности) деконструкции управляющие их собственным поведением стереотипы. Между тем восприятие в качестве самоочевидных установок, таковыми не являющихся, более, чем что-либо иное, блокирует сегодня любые позитивные сдвиги в этнополитической области и, напротив того, консервирует в конструкции российской государственности мощные конфликтогенные напряжения.

Первый из этих стереотипов представление о федерализме как о естественной, предзаданной форме российской этнополитической организации. Конечно, то обстоятельство, что в последние годы федеративная форма государственного устройства ставилась под сомнение разве что лишь в откровенно маргинальных и не предназначенных к реализации политических проектах, безусловно, сыграло позитивную, стабилизирующую роль поскольку было элементом признания практически всеми элитными группами и необратимости распада СССР, и неприкосновенности обозначенных Конституцией 1993 г. рамок политического действия. Но факторы краткосрочной стабильности далеко не всегда способны сыграть ту же роль в более отдаленной перспективе и часто их отложенное воздействие может быть даже диаметрально противоположным.

Вплоть до обнародования весной 2000 г. президентских предложений по реформе федеративного устройства России сама федеративность этого устройства принималась как бы «по умолчанию», как его единственно мыслимая форма, и консенсус по этому поводу казался едва ли не всеобщим. Между тем факт, значение которого чрезвычайно редко осознается даже не в полной, а хоть в какой-то мере, состоит в том, что федерализм как принцип организации российского политического пространства не имеет под собой решительно никакого прочного исторического основания. Почему, собственно, сегодняшняя Россия является федерацией? На самом деле этот вопрос, конечно, гораздо шире; не только территориальное устройство, но и республиканская форма правления, и сами глубинные основы правового уклада страны сегодня столь же проблематичны в том смысле, что их сложно возвести к какому-либо основанию, кроме произвола и случайности произвола и случайности и доболыпевистских, связанных с деятельностью Временного правительства (чья законность зиждилась лишь на весьма юридически двусмысленном акте великого князя Михаила 3 марта 1917 г.), и хорошо памятных постбольшевистских, но, конечно, большевистских par excellence. Весь комплекс этих вопросов не так часто становится предметом непредвзятого обсуждения, только и позволяющего осознать остроту предъявленного России вызова. Одним из немногих исключений является продолжающаяся на страницах журнала «Полития» дискуссия «Россия на путях правопреемства»1, в центре внимания всех участников которой (на сегодняшний день это А.М.Салмин, Ю.С.Пивоваров, А.И.Фурсов, А.Б.Зубов, И.Н.Андрушкевич, С.В.Волков, В.Страда) «вопрос о правомерности, праворелевантности российской демократии, о корнях, основах ее легитимности»2.

Впрочем, настоящий текст посвящен гораздо более узкой теме; отметим лишь, что если даже республиканская форма правления, утвержденная в России 1 сентября 1917 г. актом Временного правительства, актом, принятым лишь в силу сиюминутной политической целесообразности и несмотря на то, что правительство это даже в рамках очерченного им самим правового поля не имело никакого права предрешать вид будущего государственного устройства, оказывается с последовательно юридической точки зрения фиктивной, то российский федерализм фиктивен вдвойне. Вряд ли можно сомневаться в том, что республиканский выбор России был в условиях 1917 г. безальтернативен, и Керенский, подчиняясь «требованию момента», лишь зафиксировал неизбежное. Другое дело, что затем термин «республика» использовался большевиками для наименования советского режима, не имевшего к республике в собственном смысле слова никакого отношения; ибо условием действительности res publica, скажем, для Цицерона была прежде всего concordia ordinum, согласие сословий, которое никоим образом не может иметь классовой борьбы и массового кровопролития своим легитимизирующим основанием (да и otium cum dignitate, покой и достоинство, которые тот же Цицерон полагал залогом счастья государства, нелегко обнаружить в советском жизненном укладе). Но республика, по крайней мере, имела шансы стать реальностью и уже, видимо, становилась ею, когда этот процесс был прерван октябрьским переворотом.

С федерализмом же дело обстоит иначе. Безусловно, различные проекты федерализации России обсуждались в предреволюционный период, но всегда как лишь один из возможных и совсем не обязательно оптимальный вариант. Вообще трудно отделаться от мысли, вникая в эти дискуссии, что само слово «федерация» к российским реалиям «применялось» както с трудом. Так, одной из невеселых шуток истории можно счесть то обстоятельство, что в протоколе первого (11.10.1917) заседания Особой комиссии по составлению проекта основных законов при Временном правительстве, в пункте программы подлежащих разработке комиссии вопросов «Принципы федерализма, автономии, самоопределения, государственного единства», в результате допущенной опечатки значится «принципы феодализма»3 (кстати, подготовленный этой комиссией проект и не предусматривал федерализации России, но лишь установление определенной «областной автономии» в предписываемых центральной властью пределах). В свете сегодняшних реалий этот lapsus calami приобретает пророческий оттенок (ср. хотя бы: «Под лозунгом федерализма, вдохновлявшего простодушных авторов Конституции, Россия с невероятной скоростью приближается к состоянию феодализма»4).

Таким образом, федерализм в России, в отличие от республиканизма, появился лишь с установлением большевистской власти и только как ее эпифеномен. Однако же именование реальной властной конструкции СССР федерацией нельзя не счесть насилием над здравым смыслом тогда уж и сталинскую псевдоконституцию 1939 г. придется признать эталоном либерализма, и проч., и проч. Во всех этих случаях вспоминается один и тот же известный анекдот о сарае, в котором лежали все-таки дрова несмотря на то, что на стене его значилась совсем иная своеобычная для нашего отечества надпись.

Подобная дурная магия слов только запутывает дело — впрочем, запутали его еще сами большевики. Во-первых, вплоть до самой победы октябрьского переворота большевики вообще, и Ленин в частности, решительно и последовательно выступали против «мещанского идеала федеративных отношений»5 на том основании, что если уж «капитализм требует для своего развития возможно более крупных и возможно более централизованных государств»6, а федерализация ослабляет внутренние экономические связи, то тем более верен этот принцип и для последующего, более прогрессивного типа социально-экономической организации (а Сталин в марте 1917 г. даже опубликовал статью «Против федерализма», где последний был квалифицирован как «донкихотские потуги повернуть назад колесо истории»7). Во-вторых, в значительной части политического дискурса того времени под федерацией подразумевалась вовсе не федерация территориальная, а некий выдержанный в синдикалистско-солидаристском ключе проект, находившийся в полном соответствии с духом времени и всего несколькими годами позднее нашедший воплощение в итальянском корпоративном государстве. Так, первый проект советской Конституции, подготовленный наркоматом юстиции к январю 1918г., предусматривал, что республику Советов составят пять профессиональных федераций земледельцев, промышленных рабочих, торговцев, государственных служащих, «служащих у частных лиц (прислуга)». А видный деятель комиссии по выработке Конституции Рейснер утверждал: «Территориальная организация и территориальный федерализм совершенно не могут служить основанием для решения государственных вопросов в социалистической республике. Ибо наш федерализм есть не союз территориальных государств или штатов, а федерация социально-хозяйственных организаций. Она строится не на территориальных фетишах государственной власти, а на реальных интересах трудящихся классов Российской республики»8. И хотя территориальный подход все же возобладал (под влиянием Сталина), но лишь потому, что был сочтен более адекватным логике сохранения максимального объема власти на максимальной территории как отмечал Э.Карр, «федерация была тем политическим понятием, к которому можно было обратиться, чтобы удовлетворить чаяния зависимых в прошлом народов царской империи и в то же время удержать их в рамках советского строя. Стоило провозгласить право наций на самоопределение, как федерализм становился неизбежным следствием или противоядием»9. Федерация действительно рассматривалась как политическое понятие, но не как подлежащая установлению политическая реальность, и притом как сугубо временное состояние в той же статье в «Правде», в которой Сталин описал будущее устройство страны Советов как «союз определенных исторически выделившихся территорий, отличающихся как особым бытом, так и национальным составом», он провозгласил конечной целью развития этого союза переход к «будущему социалистическому унитаризму»10.

Но главное даже не в этом. Главное в том, что вся институционально-нормативная конструкция, за которой закрепилось наименование федерации (а равно и система Советов как таковая), была лишь декоративным фасадом, скрывавшим, да и то не особенно, реальный властный механизм партийные структуры, никогда не бывшие федеративными ни на йоту. Казалось бы, очевидность этого обстоятельства любому человеку, имеющему хоть какой-то опыт существования в СССР, должна бы, предшествуя аналитическим построениям, воспрещать любые интерпретации социалистического строя, принимающие за чистую монету его самоописание (к тому же бывшее и для его создателей вполне фиктивным). Но нет, советское «заколдовывание мира» оказалось настолько мощным, что действует до сих пор, и попытки заведомо бесплодного анализа советской псевдофедерации продолжают предприниматься. А между тем даже такой в целом более чем снисходительный к СССР автор, как цитированный выше Э.Карр, сам отдавший дань описаниям «советского конституционализма» и т.п., был вынужден признать просто-напросто «нереальность всех конституционных форм при советской системе правления»11 нереальность, делающую любое обсуждение этой системы правления, и в том числе ее этнотерриториального измерения, в терминах конституционных форм нарушением принципа ех nihilo nihil fit.

Но после развала СССР фикция федерализма (как и многие другие, здесь не рассматривающиеся) была принята за объективную данность и стала наполняться действительным содержанием. Произошло это, разумеется, не в силу простого недоразумения, но потому, что пустая форма федерализма была воспринята (прежде всего элитами) как готовый институциональный дизайн, пригодный для обеспечения плавного, не ущемляющего (по меньшей мере) элитные интересы перехода России в новое агрегатное состояние. При этом внутрь России был перенесен опыт СССР, когда именно и только объективация почти столь же фантомных союзных республик в качестве Новых Независимых Государств позволила избежать сваливания всего постсоветского пространства в состояние кровавого хаоса (которое, вообще говоря, и было бы наиболее логичным результатом распада советской державы). Но эффективный механизм ликвидации одного государства вряд ли может служить столь же эффективным средством строительства государства иного.

Так или иначе фиктивная природа «федеративных» форм учтена не была, не было уделено никакого внимания тому, что этот дизайн так же мало предназначен к реальному, «под нагрузкой», функционированию, как Царь-Пушка к обороне Кремля. Россия никогда, ни в один период своей истории не «работала» как федерация факт, казалось бы, исторически неопровержимый, но порождаемые им одним препятствия на пути к подлинному федерализму осознаются в полном объеме крайне редко. Среди нечастых исключений работы А.Б.Зубова, полагающего, что «судьба Советской власти, СССР и КПСС должна постигнуть и российский федерализм, столь же искусственный и инородный для нашего государственного организма»12. Это, конечно, крайняя позиция, и признание инородности федерализма российским традициям не обязательно должно приводить к столь радикальным выводам (иной вариант будет предложен ниже). Но в любом случае те, кто сегодня полагают Россию федерацией a priori, на самом деле вновь, только гораздо менее осознанно, чем в свое время большевики, занимаются заклинанием реальности. Надежды, что, повторяя «халва, халва», можно почувствовать ее вкус, особенно беспочвенны тогда, когда эту халву еще только предстоит приготовить.

Наконец, есть и еще одна, может быть, наиболее фундаментальная причина тому, что успешная федерализация России остается по меньшей мере проблематичной. Выражение «субъекты Федерации» нечувствительно вошло в политический и научный лексикон, опять же не сопровождаясь критическим его осмыслением. Действительно, условием жизненности федеративного строения является наличие его субъектов в полноценном философском смысле слова — субъектов автономных, способных к свободному самоопределению и действию, в результате которого федерация, собственно, и возникает. В наиболее чистом виде такая изначально расчлененная, множественная субъектность обнаруживается, конечно, в американском опыте; по остроумному наблюдению Д.Бурстина, в Декларации Независимости, «этом государственном свидетельстве о рождении, нигде не идет речь о государстве; везде говорится именно об отдельных штатах»13. Этот же автор приводит и слова делегата федерального Конвента 1787 г. Оливера Эллсворта, в которых полнота субъектности единицы будущей федерации однозначно свидетельствуется интенсивностью личностной самоидентификации с этой единицей: «Мое счастье в той же мере зависит от существования правительства моего штата, в какой новорожденный, чтобы питаться, зависит от своей матери»14. И то же самое имел в виду Токвиль, считая одной из ведущих гарантий прочности американской федерации то, что в ней «несколько народов (sic!-С.К.) действительно сливаются в одну нацию для решения общих для них интересов, что же касается всех прочих вопросов, то они остаются отдельными народами, образующими федерацию»15. Другие современные федерации, конечно, дальше отстоят от идеального типа, чем США, но тяготеют к нему же (подробнее об этом см. в цитированной выше статье А.Б.Зубова16). Если же подразделения государства не наделены в рамках национальной традиции более или менее выраженной субъектностью (или когда эта субъектность подверглась, как во Франции, осознанной ликвидации), федерации невозможны и потому просто не возникают.

В России же автономная субъектность составляющих ее элементов по меньшей мере сомнительна. Об этом говорит хотя бы то, что на самом деле нет даже полной ясности относительно количества объективного, а не произвольно установленного этих элементов. Зафиксированное в Конституции число 89 не имеет обоснования даже в советской эпохе — в РСФСР насчитывалась 71 территориальная единица первого ранга (края, области, автономные республики) и 15 единиц второго ранга (автономные области и округа). Состав федерации ставится сегодня под сомнение не только в Чечне, но и в целом ряде иных, к счастью, намного менее болезненных случаев (потенциальное разделение Карачаево-Черкесии, отложенное объединение Красноярского края и Хакасии и т.д.). Высказывается также мнение (привлекшее, между прочим, специальное внимание американской разведки), что «в России существует не 89 жизнеспособных единиц, но лишь около 20, обладающих действительно различающимися характеристиками»17. Образование семи федеральных округов можно интерпретировать как выражение еще одной точки зрения на этот вопрос, который, будь российские республики, края, области и округа действительными историческими субъектами, даже не возник бы.

Но отечественная традиция попросту не знает такой субъектной автономии ни территориальной, ни какой-либо иной. В развернутом виде этот взгляд на российскую историю представлен Ю.С.Пивоваровым и А.И.Фурсовым: «Русская Власть есть Моносубъект, чье нормальное функционирование предполагает либо отсутствие других субъектов вообще (в теории), либо пониженную, неполноценную, второстепенную, функциональную (по отношению к Власти) субъектность»18. Из этого, однако, никак не следует, что рождение принципиально иной, автономной субъектности (в частности, и в интересующем нас территориальном измерении) в России невозможно вообще. Более того, оно уже происходит, и не в последнюю очередь в результате развернувшихся в постсоветской России процессов политизации этничности. Но эти процессы затрагивают лишь некоторые меньшинства; и если ими и стимулируется формирование дифференцированной идентичности, то скорее сегментарной, чем региональной территориальные маркеры идентичности остаются вторичными. Во всяком случае, этническая мобилизация в ее актуальном виде работает не на упрочение федерации, а, напротив, на ее дальнейшую проблематизацию но основная масса российского населения ею практически не затронута (по данным А.Г.Здравомыслова, радикальная этническая мобилизация охватила лишь от 7 до 17% российского населения19).

Сказанное противоречит ставшему общим местом представлению о регионализации как об одном из базовых направлений эволюции постсоветской политии («Государство перемещается в провинцию»20; «Регионализация политического пространства... будет определять лицо отечественного политического процесса в обозримом будущем»21). Но это представление само по себе является скорее мифом. Действительно, в середине и второй половине 1990-х гг. региональные элиты сконцентрировали значительный политический капитал, оттянув его от федерального Центра и не допустив при этом его дальнейшего перетока в нижележащие этажи властной пирамиды (судьба местного самоуправления остается незавидной). Более того, весной-летом 1999 г. могло показаться, что разложение центральной власти стало необратимым и дальнейшую судьбу России будет определять коалиция региональных лидеров (проект «ОВР»). Но эта тенденция так и осталась элементом внутриэлитных процессов, так и не нашла массовой поддержки - которая только и могла превратить ситуативные колебания баланса сил в устойчивую парадигму.

Неорганичность российского федерализма, отсутствие под ним какого-либо прочного фундамента не означает, впрочем, фатальной его обреченности. Если бы новая социальная и политическая реальность вообще никак не могла возникнуть в результате более или менее волюнтаристского акта установления, то было бы невозможно и утверждение демократии в Японии или Индии (и даже во Франции), и возникновение светского государства в Турции, и многое другое. Сделанный в пользу федерализации во многом ситуативный выбор может стать и действительно необратимым и есть основания считать этот вариант развития событий оптимальным хотя бы потому, что крах только начатого федеративного проекта станет слишко тяжелым испытанием для всей российской политической системы, для России как таковой. Но должна быть осознана вся сложность этого предприятия. Неорганичная федерация может быть только сконструирована и ее проект должен быть полностью адекватен строительному материалу, особенностям почвы, характеру участвующей в строительстве рабочей силы и т.д. Впадая в тавтологичность, можно сказать, что дурна не всякая социальная инженерия, но лишь дурная, лишь та, которая строит «на авось» или ломает сопротивляющийся насилию материал через колено. Необходимость придать преобразованиям российской государственности осмысленность и целесообразность (сообразность цели) не раз отмечалась: «Нужна капитальная государственная реформа, цель которой... привести природу государства в соответствие с методами управления»22. Представляется, однако, что логика здесь должна быть прямо противоположной менять природу государства есть дело заведомо выходящее за рамки практически возможного (а соответствующие попытки обычно принимают прямо самоубийственный характер); коррекция же modus operand!, требующая на порядки меньших ресурсов, диктуется самыми общими соображениями здравого смысла.

Признание имперской природы России (не Российской Федерации как ее одной из возможных институциональных форм, а именно России как политического организма, идентичность которого преемственна уже более тысячи лет) действительно неизбежно. В пользу такого признания и чисто пространственный аспект проблемы, физическая величина российского пространства (составляющего сегодня, между прочим, пусть не одну шестую» но одну восьмую часть суши), являющаяся не только географическим фактом, но и одной из ключевых детерминант политической культуры и ментальности; и сохранение этнокультурной и, что еще важнее, этнополитической гетерогенности этого пространства; и явно прослеживающаяся по многим параметрам преемственность новой российской государственности по отношению к ее прежним формам, как до-, так и послеоктябрьским, но равно имперским. Все эти моменты обеспечивают сохранение не только в российской политической традиции, но и в актуальной ситуации мощного имперского потенциала.

Коль скоро же мы приступаем к рассмотрению империи не как подлежащего отвержению (тем более не как уже отвергнутого) прошлого, но как подлежащего продуманной реорганизации настоящего, то следует подвергнуть демистификации второй опасный стереотип, или, точнее, целый веер стереотипов — ложное представление о том, чем, собственно, империя является (и, в частности, империя Российская). Так, в либеральнозападнических кругах весьма распространено отождествление имперского наследия с наследием тоталитарным, основанным на безоговорочном подавлений человеческой личности и свободы во всех их проявлениях от экономических До экзистенциальных. Имперская традиция нередко описывается «как идеологический инструмент, используемый для того, чтобы человеку внушить любовь к государству, стоящему над человеком и всецело его себе подчиняющему»23. Причины такого смешения очевидны этнополитическое измерение советского тоталитарного режима действительно приняло имперскую форму, что, впрочем, не означает синонимии этих понятий («в советском социализме не было внутренней необходимости империи, и в империи не было внутренней необходимости советского социализма»24 — в более ранней работе автора содержится аргументация в пользу этого тезиса). В частности, личность в империи, действительно занимающая подчиненное положение, подчинена при этом не просто определенной политической структуре, но тем универсальным ценностям, воплощением которых эта структура является. «Империя не только давит личность, но и воз носит самого ничтожного из своих подданных на обыденно недостижимук онтологическую высоту, ориентируя в пространстве и времени. Она, по суп дела политически решает проблему личного бессмертия»25. Имперская ив' рархия должна трактоваться в первозданном смысле этого слова, как священновластие, как попытка установления институционально обеспеченной связи между мирами горним и дольним. И только ощущаемый в качестве подлинного контакт с миром горним и легитимизирует империю в сознаню ее подданных вне зависимости от того, насколько такой контакт возможе\* и успешен с точки зрения стороннего наблюдателя. Имперская «властна; вертикаль» потому и функционирует не в пример успешнее наспех конструируемых сегодня ее субститутов, что не завершается на уровне посюсторонних властителей, но возвышается и над ними.

Более того, по этой же причине и этнополитическая составляющая имперской традиции, вопреки распространенному мнению, состоит не £ оправдании насильственной ассимиляции и преследований по этническом) признаку, а, наоборот, в исключении этнического критерия из числа политически референтных, в предоставлении широкой автономии локальным сообществам при условии их политической лояльности и в формирование консолидированной общности на основе универсальных принципов и ценностей, не отрицающих широкой вариативности групповой и личностной идентификации. До сих пор еще часты описания чуть ли не тоталитарной: «империализма» империй, как относящиеся к прошлому, так и проецируемые на современность («Русские заданы... на растворение в себе масс меньшинств в рамках империи, где они доминируют»26; «Великорусские шовинистические власти находились в антагонизме с большинством инородцев, сопротивлявшихся имперскому упорядочиванию»27). Но эти инвективы есть результат явного qui pro quo, поскольку приписываемая здесь империям политика на деле свойственна национальным государствам («Государство-нация по самой своей природе стремится к культурно-языковой однородности, даже не придавая этой цели радикального или метафизического смысла»28), в империях же начинает проводиться только с момента их включения в модернизационные процессы, радикально меняющие имперскую этнополитическую парадигму29.

Отказываясь же от отождествления империи и тоталитаризма, мы тем самым вынуждены признать, что стоящие перед современной Россией задачи отнюдь не исчерпываются расчисткой завалов, оставленных коммунистическим режимом. Проблема преодоления тоталитарного наследия чрезвычайно сложна, но сложность эта скорее технологического, количественного плана, состоящая в необходимости уничтожения, вылущивания рекордных для опыта человечества объемов злокачественной социальной ткани и как можно более быстрого их замещения иным материалом, если и не вполне органичным, то, по крайней мере, не вызывающим немедленного отторжения. Гораздо более важен иной вопрос что делать с наследием имперским, с иерархией, которая в условиях современного десакрализованного, расколдованного мира представляет собой пустую форму, лишенную того положительного содержания, которое одно и сообщало ей жизненную силу, соединявшую в целостном многообразии пространства и народы? Имперская государственность, не воспринимающаяся как институционализированная иерофания, как канал трансляции абсолютного содержания, превращается в автопародию, лишается доверия как всякий идол, обнаруживший свою ложность, и вслед за тем растворяется в небытии. Именно такой была судьба Советского Союза, мгновенная и безболезненная ликвидация которого стала возможна прежде всего потому, что в него перестали верить равным образом и элиты, и массы, все же прочие обстоятельства играли роль уже вторичную. Но проблема не была тем самым снята, поскольку постсоветская российская государственность, вынужденно (строясь на имперском субстрате) оставшись имперской, столкнулась сегодня с тем же нарастающим дефицитом легитимности, с той же жаждой подлинного объекта веры, которая, не находя удовлетворения, может привести Россию к повторению судьбы СССР вряд ли столь же бескровному.

Логически возможными (но, конечно, не равно вероятными) представляются четыре варианта дальнейшей судьбы той пустой, десакрализованной имперской формы, которой сегодня является российское государство.

Дальнейшая ее эрозия и в конечном счете полная и необратимая дезинтеграция. Этот вариант не подлежит детальному рассмотрению не только потому, что сколько-нибудь обоснованные прогнозы здесь в принципе невозможны, но в основном потому, что в его рамках речь пойдет не столько о России, выступающей предметом нашего анализа, сколько о построссийском пространстве. В любом случае последствия политического испустошения северной Евразии окажутся настолько кровавыми, что необходимость избежать такого развития событий превращается в императив.

Ревитализация старого сакрального содержания, в свое время покинувшего тело империи и освободившего место большевистскому соблазну. На языке политической практики этот вариант означает необходимость реставрации монархии, реституции экспроприированной большевиками собственности и восстановления связи с дореволюционной правовой традицией большинство сторонников этой программы, ныне умножающихся, настаивают хотя бы на последнем ее пункте, видимо, в связи с чрезмерной утопичностью двух первых. С формально-логической точки зрения такой сценарий даже привлекателен, поскольку сулит России возврат к органическим для нее формам государственного бытия и, соответственно, если не решение, то обеспечение принципиальной решаемости описанных выше проблем. Но даже с трудом представимое преодоление всех грандиозных затруднений не только не гарантирует, но, более того, и не особенно приближает успех всего предприятия по меньшей мере по одной причине. Действительная реставрация монархии есть не только узко понимаемая политическая реформа, коль скоро и монархия тем более российское самодержавие есть не только вид государственного устройства, но феномен, в котором сакральное и политическое связаны неразрывно. Соответственно, условием реставрации является и действительное, а не формальное, качественное, а не количественное религиозное возрождение России, причем в первую очередь возрождение православия. Между тем такое возрождение представляется делом достаточно отдаленного будущего (а возрождение религиозности в тех же самых формах, которые делали возможным существование православного Царства — и вовсе невероятным). Неоднократно приводились в печати социологические данные, согласно которым значительная часть тех приблизительно 40% населения, которые сегодня признают себя православными, либо не воцерковлена вовсе, либо не верят в фундаментальные догматы Церкви, либо, наконец, противоестественным образом совмещают их формальное признание с оккультно-неоязыческими представлениями (см., например, публикацию Т.И.Варзановой, основанную на данных Центра социологических исследований МГУ30). Возможно, более точно оценить уровень подлинной, а не номинальной религиозности в России позволяют косвенные данные; так, по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ в мае 2000 г., среди качеств, которые родители хотели бы воспитать в своих детях, веру в Бога (причем независимо от ее конфессионального выражения) назвали лишь 7% населения (и столько же выступили за то, чтобы уделить особенное внимание школьному преподаванию Закона Божьего)31. В такой ситуации реставрированная монархия — скорее всего, это относится и к паллиативным вариантам восстановления исторической преемственности превратится в псевдоморфоз, который даже при тождестве внешних форм вынужденно будет легитимизироваться при помощи каких-то иных механизмов и политических технологий, возможно, еще более неорганичных российскому опыту, чем худо-бедно действующие сегодня. Условием успеха этого сценария действительно является «метанойя», «перемена ума» в национальных масштабах32; но из этого следует, что в ее отсутствие всякие опережающие институциональные преобразования станут попыткой с негодными средствами.

3. Эксплуатация имперской традиции именно как пустой формы, маскирующей новое, не ценностное и поскольку не ценностное, постольку ложное содержание. Речь идет о свойственном значительной части национал-патриотического лагеря инструментальном восприятии имперской традиции как дополнительного аргумента в пользу этнонационалистической программы, абсолютизирующей притязания, выдвигаемые от имени конкретного этнического субстрата, исторически связанного с имперским ядром («Отличие русского национализма... состоит в осуществлении «проекта» Российской империи, обеспечивающего русской нации жизненное пространство и материальные ресурсы, соответствующие ее историческим масштабам и самобытности»33). Этот вариант рассматривался автором в ином тексте, где и было отмечено «явное несоответствие столь рационального понимания имперской идеи («пространство и ресурсы») исторической имперской традиции, в рамках которой рациональные соображения всегда играли подчиненную роль»34. Возможная краткосрочная эффективность такого варианта, связанная с высокой эмоциональной привлекательностью темы империи как механизма политической мобилизации, полностью компенсируется неизбежным в более, хотя и не слишком, отдаленной перспективе резким ухудшением как внутреннего этнополитического климата, так и внешнеполитической ситуации в первую очередь (но не только) на постсоветском пространстве. Очевидная контрпродуктивность уже почти свершившейся монополизации этнонационалистами прав на имперское наследство (возможной только при условии тотальной фальсификации последнего) заставляет задуматься о путях разрушения этой монополии — и наблюдаемое сегодня явное ослабление национал-патриотического лагеря не должно действовать расхолаживающе, поскольку сохраняется опасность перехвата и более эффективного использования соответствующих механизмов политической мобилизации (с теми же, впрочем, результатами) другими политическими акторами, в первую очередь властью.

4. Наконец, еще одним логически возможным вариантом является придание имперской форме нового идейного импульса. Сохранившаяся, пусть и в урезанном виде, имперская этнополитическая конструкция, с одной стороны, не может быть мгновенно переустроена на принципиально новых началах (например, федеративных). Судьба институциональных новаций, не затронувших глубинных слоев политической культуры, не поддержанных преобразованием социальных и политических практик, остается гадательной. С другой стороны, государственное тело империи, будучи лишено поддерживавшего его абсолютного в своей интенции целеполагающего смысла, грозит распасться в любой момент — поскольку в отсутствие такого смысла просто не имеет оправдания собственному существованию. Однако можно предположить, что таким легитимизирующим смыслом может стать не только буквально воспроизведенная традиционная государственная парадигма (что даже и невозможно) и не имитирующий ее фальсификат (что на некоторое время возможно, но крайне нежелательно), но и некий иной идейный комплекс, отвечающий двум основным условиям: а) если не прямо сакральный, то также интенционально предельный, универсальный по своей природе; б) обладающий пусть не абсолютной, но хотя бы относительной совместимостью с российским этнокультурным и этнополитическим субстратом.

Как представляется несмотря на внешнюю парадоксальность этого утверждения роль подобного идеологического стабилизатора российской политии вполне может сыграть либерально-демократический, или, точнее, либерально-консервативный (аналогичный англоамериканскому правому консерватизму, но никак не левому либерализму) идейный комплекс. Более того, именно отсутствие продуктивного взаимодействия с имперской традицией и являлось до сих пор основным препятствием к реализации в России либерально-консервативного проекта, а представление о невозможности такого взаимодействия есть третий подлежащий преодолению ложный стереотип.

Мировой опыт явственно демонстрирует обоюдную совместимость империи и либеральной демократии. G одной стороны, отказ от одномерного восприятия имперского опыта (вызванный очевидным несовершенством национально-государственной модели, особенно ярко высвеченным как раз событиями 1980-90-х гг. в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, а также процессом европейской интеграции) привел к заметной реабилитации исторических империй. В основе новой тематизации империи в западной социальной науке лежит осознание того, что воспринимаемый как архетип империи «Рим дал современным демократическим обществам то, что позволяет им быть «гармоническими» сообществами»35. Более того, «культурная задача, ожидающая сегодня Европу, заключается в том, чтобы вновь стать римской»36, в чем и видится залог сохранения европейской идентичности и всех тех ценностей свободы и достоинства, за которыми закрепилось наименование европейских. Уместно вспомнить, что, например, римское право как общепризнанный эталон «систем, строящихся на всем понятных и потому универсальных принципах справедливости»37, возникло в империи в очевидной связи с ее вселенской природой. Именно поэтому римское право в дальнейшем получило санкцию Церкви («вполне отражая в правовой сфере столь важные для христианства идеи всеобщей справедливости и универсализма»38) и было воспринято европейской цивилизацией, войдя в состав фундамента либерально-демократической традиции. Логические основания для априорного отвержения имперской традиции in toto, таким образом, отсутствуют.

С другой стороны, и либерально-демократическая идея особенно сильна тогда, когда перестает маскировать поверхностным рационализмом свои истинные корни, являющиеся, конечно, объектом веры, а не продуктом рационального выбора. Только абсолютное, а не релятивистское восприятие ценностей свободы сообщает построенной на них цивилизации готовность их отстаивать; так, нет оснований сомневаться, что конечная победа Запада в холодной войне была обеспечена прежде всего преодолением ценностной дезориентации 1970-х гг. Призывая к «крестовому походу» против «империи зла», Р.Рейган имел в виду именно зло и буквально крестовый поход во всей первозданной беспощадности этих слов, закрепляя тем самым за Америкой роль «империи добра». Указание на предельный характер защищаемых ценностей содержится и в знаменитой его фразе: «Есть вещи поважнее, чем мир», которую советская пропаганда воспроизводила, исправно обрывая на полуслове; между тем далее следует: «Есть вещи, за которые каждый американец должен хотеть сражаться». И нет никакого резона полагать верность заявленному в этих словах принципу исключительно американской прерогативой.

Представляя российский либеральный проект как вовсе лишенный ценностного измерения, как несущий гражданам исключительно шкурную выгоду (причем ложность этого обещания выявилась мгновенно), как рвущий с опостылевшей традицией, а не придающий ей новый импульс, его архитекторы загнали сами себя в ловушку — проекты такого приземленноциничного свойства не реализуются не только в России, но и вообще нигде. Только в самое последнее время выход из этой ловушки начал нащупываться. Признание того факта, что в составе имперской традиции наличествуют и компоненты, вполне согласующиеся с либеральной системой ценностей, обнаруживается, например, в программной статье одного из виднейших либералов А.Н.Улюкаева «Правый поворот»39: «Империя тем и отличается от колониальных держав или деспотий, что она дает представителям всех народов одинаковые возможности для участия в общественной и политической жизни страны» в той мере, добавим, в какой эти народы включены в общую систему ценностей (например, либеральную), иерархически высшую по отношению к любым локальным традициям.

Речь, разумеется, идет не о создании полноценной империи, в котоь рой «православие» было бы замещено либерализмом, «самодержавие», видимо, какой-то из форм «делегативной демократии»40, а «народность» гражданским, конституционным патриотизмом со стертым собственно этническим содержанием (а 1а Ю.Хабермас41). Такая утопия была бы не только нелепой, но и попросту вредной поскольку именно ее абсолютная нелепость препятствовала бы обсуждению реальных проблем. Реанимация или, точнее, эвокация империи как таковой в современном мире невозможна в силу несовместимости империи с целым рядом фундаментальных особенностей посттрадиционного общества социальных, политических, экономических, ментальных, наконец42. Речь идет исключительно о том, что российская либеральная демократия может быть успешной только в том случае, если она будет подкреплена этнополитичеекими технологиями, соприродными ее культурному субстрату следовательно, имперскими. И никакого сущностного противоречия между либеральной идеей и имперскими технологиями нет так как эти технологии на деле носят «кроссплатформенный» характер, так как они вполне могут служить любой достаточно абсолютной для такого служения идее.

Конечный результат подобного либерально-имперского синтеза может быть во многих отношениях весьма близок к описанной А.Дейпхартом модели «сообщественной демократии», важнейшей характеристикой которой является солидарность включенных в политический процесс дифференцированных элит и, соответственно, ограничение прямого политического участия масс, когда возглавляемый элитной группой «сегмент играет роль посредующей структуры между индивидом и обществом»43. Очевидны параллели со структурой имперских межэлитных отношений: империи преобразуют «различающиеся общества с их автономными институтами и региональными элитами в политически соподчиненные гражданские единицы»44, сохраняя при этом за локальными элитами роль посредников в трансляции воли центральной элиты, обеспечении функционирования каналов обратной связи и перераспределении имперских ресурсов. «Империя оказывается вновь и вновь воспроизводимой, гибкой формой политической организации большого пространства по двум тесно связанным причинам: она удерживает вместе разнородные элементы, обходясь без их инспирируемой центром глубокой внутренней трансформации, и она обеспечивает центральной элите необходимые ей ресурсы, обходясь без дорогостоящих механизмов контроля и репрессии»45, поскольку «региональные правители используют существующие практики, соглашения и связи»46. Сложно отрицать, что приблизительно так и выглядит сегодня российский политический процесс, состоящий почти исключительно из внутриэлитных взаимодействий при отчужденности от политики масс, за одним только исключением, за отсутствием солидарности элит. Но почему солидарность элит не простирается далее минимального согласования действий и мобилизации известных ресурсов в ситуации очевидной и всеобщей угрозы (как это было перед президентскими выборами 1996 г.)? Почему она не распространяется на более долгосрочную перспективу? В первую очередь за неимением такой системы ценностей, которая отвечала бы нескольким минимальным условиям:

не была бы a priori монополизирована ни какой-либо из локальных элит, ни элитой центральной;

не несла бы ни одной элитной группировке прямой и объективной (а не мнимой!) угрозы;

— и при этом обеспечивала бы очевидные выгоды (например, в виде включения на приемлемых условиях в глобальное экономическое пространство),

Либеральный идейный комплекс отвечает всем этим условиям вопрос в соединении его с тривиальной эффективностью государственных институтов, а также в достаточной последовательности проведения создающей базовый консенсус элит соответствующей политики. И то, и другое в постсоветской России по хорошо известным причинам отсутствовало; но это не означает принципиальной невозможности обеспечить эту эффективность и последовательность и дать тем самым локальным элитам основания полагать, что кооперация или даже конкуренция в заданных центром рамках более перспективна, чем ведущаяся на грани пропасти война на уничтожение. (Следует, впрочем, оговориться, что некоторые аспекты модели «сообщественной демократии» право взаимного вето сегментов, исключительно пропорциональный избирательный порядок именно применительно к России вызывают серьезные сомнения47, и здесь подразумевается лишь частичная, но ни в коем случае не полная приложимость ее к отечественным реалиям.)

Но принятие такой надлокальной системы ценностей необходимо должно быть дополнено, как уже подчеркивалось, инвентаризацией и реформой того арсенала этнополитических технологий — ни с какой идеологией не ассоциированных! которым сегодня располагает Россия. Уже простое осознание реальной степени разнообразия, соединенное с намерением его учесть (а не ликвидировать как патологию), дополненное пристальным изучением нашего имперского прошлого, могло бы принести немало пользы.

Вообще имперский характер подлежащей преобразованию системы, как представляется, во многом предрешает выбор именно федеративного устройства. В самом деле, нетрудно заметить известную близость определений империи («крупная внутренне неоднородная полития, элементы которой связаны с центральной властью системой опосредованного правления» ) и федерации («федеральная структура покоится на многоуровневом сцеплении более или менее гетерогенных единиц второго порядка, что влечет за собой анизотропию государственного пространства и множественность центров, образующих иерархию, но в конечном счете подчиненных общему центру»49). В обоих случаях санкционируется и приобретает нормативный характер внутренняя неоднородность политического сообщества — и очевидно, что как раз необходимость сохранения и нормативизации внутренней, прежде всего этнополитической, неоднородности и задает коридор возможных решений в российском случае, поскольку любая попытка ее последовательной элиминации приведет к поистине катастрофическим последствиям (здесь используется тот же объективный критерий «цены вопроса»). И федерация, и унитаризм неорганичны России, поскольку вплоть до сегодняшнего дня ее государственность принципиально не поддается описанию в этих терминах; но имперская специфика претерпевающей парадигматическое преобразование позволяет предположить, что ее дизайн должен конструироваться скорее в федеративном духе. Перефразируя известные слова Р.П.Уоррена, можно сказать: «Мы должны сделать федерацию из империи, потому что ее больше не из чего делать»; более того, если уж мы должны превратить империю во что-то иное, то лучше и безопаснее превращать ее в федерацию.

Параллели между империей и федерацией уже проводились, и именно применительно к России50. Действительно, с академической точки зрения «такая перспектива обладает богатым потенциалом для пересмотра имперского (и советского) прошлого с постсоветских точек зрения»51 и вполне продуктивна; но с точки зрения практической, быть может, гораздо важнее обратный ход мысли: следует не только проецировать федерацию на империю (что, в конце концов, остается лишь спекулятивным действием), но и федерацию как империю проектировать.

Такая оптимизация федеративного институционального дизайна, может быть, и позволит (если это будет сочтено действительно необходимым и в достаточно отдаленном будущем) перейти к унитарной форме государственного строения тем более, что модернизационные процессы в любом случае будут способствовать дальнейшему выравниванию центра и периферии, преодолению этнокультурных разломов (cleavages), развитию кросс-культурных контактов и мобильности и т.д. Но такая оптимизация не просто желательна; она является предварительным условием sine qua non любой «гомогенизирующей» политики, более того, успешной модернизации России как таковой. Еще точнее, императивные требования модернизации будут выполнены в любом случае и помимо чьего-либо желания, так что ее успех гарантирован зато не гарантировано, что арена этого успеха будет по-прежнему называться Россией, Актуальная ущербность этнополитической организаций может не позволить России пройти полный модернизации онный цикл с сохранением собственной идентичности или даже целостности. Между тем набор достаточно тривиальных действий, преимущественно чисто технологических и не требующих привлечения никаких специальных ресурсов, кроме воли и интеллекта, позволяет блокировать эту угрозу. Если же такая возможность Существует она должна быть использована.

**Список литературы**

1 Полития. 1998. № 1. С.59-115; Полития. 1999. №3. С.41-87.

2 Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская власть: история и современность // Полития. 1998. № 1.С.71.

3 Временное правительство и Учредительное Собрание // Политическая наука. 1999. № 4. Конституция и власть: сравнительно-исторические исследования. М., 1999 С. 184.

4 Митрохин С. Дефективный федерализм. Симптомы, диагноз, рецепты // Российский бюллетень по правам человека. 1999. Вып. 12. С. 18.

5 Ленин В.И. ПСС. Т.26. С. 108-109.

6 Ленин В.И. ПСС. Т.24. С.143.

7 Сталин И.В. Соч. Т.З. С.27.

8 Цит. по: Гурвич Г.С. История Советской Конституции. М., 1923. С.142.

9 Карр Э. История Советской России. Кн. 1. Большевистская революция. М., 1990. С.125.

10 Сталин И.В. Соч. Т.4. С.66-73.

11Карр Э. История Советской России. Кн. 1. Большевистская революция. М., 1990. С.323.

12 Зубов А.Б. Является ли федерализм наилучшей формой обеспечения прав и свобод граждан России? // Российский бюллетень по правам человека. 1999. Вып. 12. С.54.

13 Бурстин Д. Американцы: национальный опыт. М., 1993. С.508.

14 Там же.

15 Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. С.133.

16 Зубов А.Б. Является ли федерализм наилучшей формой обеспечения прав и свобод граждан России? // Российский бюллетень по правам человека. 1999. Вып. 12. С.5657.

17 Federalism in Russia: How Is It Working? Conference Report: 9-10 December, 1998. U.S. National Intelligence Council & Bureau of Intelligence and Research U.S. Department of State, 1999. P.2.

18 Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская Система // Политическая наука. 1997. № 3. Типы власти в сравнительно-исторической перспективе. М, 1997 С.90.

19 Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М., 1997. С. 156.

20 Магомедов А.К. Мистерия регионализма. Региональные правящие элиты и региональные идеологии в современной России. М., 2000. С.9.

21 Шестов Н.И. Выбор дискурса исследования регионального политического процесса // Регион как субъект политики и общественных отношений. М., 2000. С. 116.

22 Ольшанский Д.В. Дезинтеграция: новые симптомы старой болезни // Pro et Contra. Т.5. №1. Зима 2000. С.35.

23 Клямкин И.М., Кутковец Т.Н. Кому в России нужна империя? // Сегодня. 01.02.1996. №17.

24 Каспэ СИ. Советская империя как виртуальная реальность // Россия и современный мир. 2000. № 1. С. 14.

25 Булдаков В.П. XX век российской истории и посткоммунистическая советология // Российская империя, СССР, Российская Федерация: история одной страны? Прерывность и непрерывность в отечественной истории XX в. М., 1993. С.9.

26 Яковенко И.Г. Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. Новосибирск, 1999. С. 104.

27 Cohen A. Russian Imperialism: Development and Crisis. Westport-L., 1996. P.62.

28 Kende P. Quelle alternative a 1'Etat-nation? // Esprit. 1991. № 10. P. 24.

29 Каспэ С.И. Имперская политическая культура в условиях модернизации // Поли-

тия. 1998. №З.С.42-57.

30 Варганова Т.Н. Во что верят россияне? // НГ-Религии. 27.02.1997. № 2. 3' http://www.wciom.ru/EDITION/Obrazovan.asp

32 См. об этом: Салмин A.M. Легальность, легитимность и правопреемство как проблемы сегодняшней российской государственности // Полития. 1998.. № 1. С.66.

33 Кольев А.Н. Империя судьба России // Неизбежность Империи. М, 1996. С.74.

34 Каспэ С.И. Имперская политическая культура в условиях модернизации // Политая. 1998. №3. С.55.

35 Антонос Г. Империя и национальное государство:история и современность//По-литическая наука (Теория. Ретроспективные исследования). М., 1995. С.91.

36 Браг Р. Европа, римский путь. Долгопрудный, 1995. С. 159.

37 Кофанов Л.Л. Римское право в формировании средиземноморской культу-ры//Европейский альманах.1997. История.Традиции.Культура. М., 1998. С. 14.

38 Там же.

39 Улюкаев А.Н. Правый поворот // Полит.Ру. 30.11.1999. — http://www.polit.ru/ documents/147910.html

40 O'DonneU G. Delegative Democracy // Journal of Democracy. 1994. № 5. P.55-69.

41 Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность // Хабермае Ю. Демократия, разум, нравственность. М, 1995. С.209-245.

42 Каспэ С.И. Советская империя как виртуальная реальность // Россия и современный мир. 2000. № 1. С.7.

43 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1997. С.84.

44 Motyl A.J. From Imperial Decay to Imperial Collapse: The Fall of the Soviet Empire in Comparative Perspective // Nationalism and Empire: The Habsburg Empire and the Soviet Union. N.Y., 1992.

45 Tilly C. How Empires End // After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building. N.Y.-L., 1997. P.4.

46 Там же.

47 См.: Каспэ С.И. Демократические шансы и этнополитические риски в современной России // Полис. 1999. № 2. С.39-40.

48 Tilly С. How Empires End. // After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building. N.Y.-L., 1997. P.3.

49 Бешлер Ж. Демократия. Аналитический очерк. М., 1994. С. 108.

50 Von Hagen M. Writing the History of Russia as Empire: The Perspective of Federalism. // Kazan, Moscow, St Petersburg: Multiple Faces of the Russian Empire / Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом из разных углов. М., 1997. С.393410. 51'Тамже С.399.